

Сегодня мало кто вспоминает и говорит о творчестве писателя Николая Михайловича Карамзина (1766–1826). В лучшем случае его помнят историки, так как Николай Михайлович — автор знаменитой «Истории государства Российского». Но заслуга его не только в этом. По мнению известного литературоведа, культуролога, учёного Юрия Михайловича Лотмана, Карамзин создал атмосферу честности, душевного благородства, бесстрашного поиска истины — всё то, что и составляет воздух русской литературы, без которого она погибает. Цитата из книги Юрия Лотмана «Сотворение Карамзина»: «Читатель это чувствовал и отвечал литературе безусловным доверием. А это доверие также составляет основу атмосферы, в которой живёт литература».

Какие точные и актуальные слова для нашего времени! На мой взгляд, главная проблема современной литературы — и не только отечественной, но и зарубежной — в том, что она лишилась этого доверия. С чем это связано? Вопрос непростой, ответить на него в рамках небольшой статьи невозможно. Но пунктирную линию в виде коротких тезисов попробуем провести.

Конечно, никто не утверждает, что литература не может быть развлекательной и лёгкой. Поэтому мы оставим в стороне детективы, фэнтези, мемуары знаменитых артистов и так далее.

Мы говорим, прежде всего, о художественной литературе — как высшем проявлении национального самосознания.

«Невольник чести» — так Михаил Юрьевич Лермонтов высказался об Александре Сергеевиче Пушкине в своём знаменитом стихотворении «Смерть поэта». И это не поэтическая гипербола или выпендренная фраза. Пушкин, являясь осознанным продолжателем традиций Карамзина, не мог себе позволить в своём творчестве и тени духовной фальши, а также в жизни. Нет, я не идеализирую поэта, но понятие личности в русской литературе тождественно понятию художник. Пушкин возрастал как личность и одновременно — как вдохновенный поэт. И мы, к счастью, судим о творчестве того или иного писателя по его высшим достижениям.

Парадокс заключается в том, что подлинная художественная правда может содержаться в «вымысле» художника («Над вымыслом слезами обольюсь». А. С. Пушкин) и, напротив, даже самое, казалось бы, реалистическое произведение часто кажется нам литературной фальшивкой. Почему? Всё это вполне объяснимо. Заметил это явление ещё в начале XIX века поэт Пётр Андреевич Вяземский. В дореволюционном собрании его сочинений опубликована секретная записка поэта к императору, в которой он анализирует состояние отечественной литературы.

Хочется привести одну любопытную цитату: «Беда в том, что во главе её (литературы) стоят не великие писатели, а более или менее ловкие и смыслившие журналисты. Промышленная, торговая, любостыжательная, одним словом, реальная сторона века отразилась и на нашей литературе. Нет вдохновения, творчества, бескорыстной и благородной любви к искусству».

Вяземский говорит о том, что писатели по своей сути стали журналистами: «Наши литераторы превратились в каких-то литературных станковых и следственных приставов. Они следят за злоупотреблениями мелких чиновников, ловят их на месте преступления и доносят о своих поимках читающей публике, в надежде вместе с тем, что их рапорты дойдут и до сведения высшего правительства. В литературном отношении я осуждаю это господствующее ныне направление: оно материализует литературу подобными снимками с живой, но низкой природы, низводит авторство до какой-то механической фотографии, не развивает высших творческих и художественных сил, покровительствует посредственности дарований этих фотографов-литераторов и отклоняет нашу литературу от путей, пробитых Карамзиным, Жуковским и Пушкиным».

Трудно не согласиться с Петром Вяземским. Действительно, сегодня журналистика вытеснила литературу — как высокое искусство. Писатель-журналист в лучшем случае поднимает непростые социальные и общественные вопросы, в худшем — встраивается в конъюнктуру рынка или отрабатывает враждебный политический заказ. Но это уже сфера политических технологий, а не искусства. Поэтому автор или писатель-журналист отстранён от своего произведения, не вкладывая в него, как говорят, души. Большая подлинная литература — это, прежде всего, духовный опыт писателя. Поэтому Карамзин и говорил, что дурной человек (в смысле дельчества, приспособленчества, неадекватности) не может быть хорошим автором.

Олег Алёшин.

РАССКАЗ- газета

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

В нашей жизни, полной тревог и неопределённости, часто не хватает каких-то островков покоя и умиротворения, где можно предаться размышлениями и созерцанию, — тем чувствам, которые невольно возникают при посещении сада или парка. И такой островок примостился на шумных улицах областного центра, но чтобы ощутить подлинный дух островной жизни, нужно только открыть обычную дверь книжного магазина. И вы сразу же ощутите иной воздух, атмосферу, мир, где стоит умная тишина, где можно с полки взять любую понравившуюся книгу и забыть на время о своих заботах, суете жизни. Так прикасаются к подлинному искусству, в перелистывании страниц книги есть какое-то священнодействие. Чистота, уют, порядок придают этому островку и ощущение дома. Помните, в «Маленьком принце» Антуана де Сент-Экзюпери как прекрасно сказано: «Проснулся утром — уберись свою планету, иначе она вся зарастёт баобабам». В наше время важно, чтобы не заросли травой забвения блистательные имена русской литературы. Поэтому этот островок необходимо содержать в чистоте в прямом и переносном значении этого слова. К счастью, многие жители областного центра знают о существовании такого островка книг, который вот уже 10 лет как радует любителей книг издательскими новинками и другой печатной продукцией.

Для книжного магазина, поверьте, это значительная дата. Просуществовать столько лет на книжном рынке кажется непосильной задачей. Порой думается, что магазин существует не благодаря, а вопреки обстоятельствам, которые сложились на книжном рынке. Но, несмотря на сложности, магазин, став культурной жемужиной областного центра, продолжает радовать любителей книги не только издательскими новинками, но и своими необычными культурными начинаниями.

«Моя книга» держится, прежде всего, на любви к книге и профессионализме работников. Стаж работы каждого из них в книжной торговле более 20 лет. Торговый работник, если он мастер своего дела, обязан досконально знать всё о своём товаре, чтобы помочь сделать, как сейчас говорят, правильный выбор: покупатель должен быть доволен своим приобретением, только в этом случае он захочет вернуться в магазин.

Преимущество небольших торговых предприятий перед сетевыми магазинами в том, что они гибки в своей торговой политике, находят личный контакт с каждым покупателем, поэтому хорошо знают потребность людей в том или ином товаре. Всеми этими преимуществами в полной мере овладели работники торгового предприятия «Моя книга».

Без преувеличения можно сказать, что «Моя книга» — единственный на сегодняшний день в областном центре магазин, где широко представлено творчество региональных писателей, исследователей и краеведов. И это ещё одно обстоятельство, которое делает «Мою книгу» по-своему уникальным культурным явлением областного центра.

В ТЕМУ

История книжной торговли в Тамбовской губернии восходит к концу XVIII века — эпохе Просвещения. По данным кандидата исторических наук, старшего преподавателя кафедры библиотекведения и библиографии ТГУ им. Г. Р. Державина Е. Н. Стрыгиной (Балашева), в те годы в Тамбове книгами торговали две лавки.

Безграмотность населения, дороговизна изданий — это основные причины, которые не позволяли в полной мере развиваться книжной сфере. Кроме того, читатели предпочитали выписывать книги из столичных магазинов. При желании можно было заказать любую книгу, даже из-за границы.

Рост промышленности во второй половине XIX и начале XX века вызвал структурное изменение экономики, что, конечно, способствовало развитию книготорговли в России.

По данным Стрыгиной, наибольшее количество книготорговых предприятий пришлось на 1890 год, когда в Тамбовской губернии было зарегистрировано 57 магазинов и лавок.

В Тамбове, Козлове, Моршанске книжная торговля могла удовлетворить разнообразные вкусы читателей, но в небольших поселениях продавался в основном примитивная издательская продукция.

Стрыгина в своих научных работах приводит имена наиболее крупных книготорговцев: А. М. Абрамов, И. Ф. Зотов, М. Я. Прокофьев, В. И. Холуянов.

Принято считать, что расцвет книжной торговли приходится на послевоенное советское время. Действительно, книги выходили миллионными тиражами, был расцвет издательского дела...

Но если посмотреть на статистику, то возникает определённое недоумение. В сборнике «Народное хозяйство Тамбовской области за годы девятой пятилетки» мы обнаружили интересные статистические данные. В 1965 году в Тамбовской области было всего 13 книжных магазинов, через десять лет их число выросло до 16. Сравнение не в пользу «самой читающей страны». Возможно, торговые предприятия из-за немалых сегодня тиражей имели большой товароборот. Кроме того, территория Тамбовской губернии до антоновского восстания была несравнимо больше, чем сейчас. Словом, этот вопрос требует тщательного и специального исследования. Поэтому мы ничего не берёмся утверждать.



Друзья книжного магазина, писатели (слева на право) Эдуард Емельянов, Владимир Самородов, Семен Золотухин.

КСТАТИ

Сегодня наблюдается тенденция снижения тиражей, но при этом отмечается феноменальное разнообразие издательской продукции. Книжный бизнес, увы, не приносит существенной прибыли. На плаву в основном сетевые книжные магазины, которые за счёт большого товарооборота ещё как-то существуют. Но они предпочитают работать с известными авторами и издательствами, местная краеведческая литература, увы, не востребована.

Оказывается, при умелой организации торговли произведения местных авторов вызывают неподдельный интерес у горожан и гостей Тамбова.

По словам директора книжного магазина Ольги Викторовны Миловой, прежде всего, привлекают покупателей профессионально и со вкусом оформленные книги. Кстати, наибольшим спросом сегодня пользуются книги краеведческого и научно-популярного содержания

тамбовского издательства «Хранители времени». Его основа известная в среде коллекционеров, краеведов, исследователей тамбовская семья Гнатюков. Без преувеличения можно сказать, что проекты издательства «Хранители времени» вышли за рамки Тамбовской области благодаря высокому качеству книг. Авторские фотоальбомы Сергея Рудакова также в числе лидеров продаж. Кроме того, популярностью пользуются сказки и басни Е. Чистяковой, открытки ручной работы с видами Тамбова Л. Косенковой, книги о тамбовских губернаторах В. Селивёрстова, путеводитель «Достопримечательности Тамбовщины» Е. Инякиной, книги о Тамбовщине Т. Поповой, а также произведения М. Гришина, С. Кочукова... Договоры на реализацию книжной продукции подписали 152 автора.

Но кроме красивых подарочных изданий, в магазине можно приобрести и совсем тонкие сборники молодых авторов. Начинающему или маститому писателю важен выход на широкую аудиторию, необходима и обратная связь с читателем. И такую возможность предоставляет «Моя книга». На протяжении многих лет здесь проводятся «литературные фуршеты» — это нестандартная форма презентации книг. В этом году было проведено четыре праздника книги. На литературные встречи приглашаются постоянные покупатели, студенты и школьники, которые с большим интересом общаются с литературной жизнью тамбовского края. Учитель русского языка и литературы Ольга Викторовна Фомичева со своими учениками из Лицея №21 областного центра не пропустили ни одного литературного фуршета.

Кроме того, «Моя книга» помогает издавать «Рассказ-газету», которая была основана в 1991 году Александром Михайловичем Акулиным. И это весьма символично. Александр Михайлович многие свои литературные произведения выстраивал на краеведческом материале. Таким образом, торговое предприятие «Моя книга» поддерживает связь времён, популяризирует тамбовскую литературу, знакомит с книжными новинками.

По сути, «Моя книга» за 10 лет своего существования стала культурным центром, местом притяжения творческих, увлечённых, преданных литературе и краеведению людей. Покупатели этого магазина, возможно, сами того не осознавая, поддерживают робкие ростки литературы в нашем крае. За что им большое спасибо!

АЛЕКСАНДР ЖУРАВЛЕВ

Сотрудникам магазина «Моя книга» с радостью. Долгих вам лет процветания.

*Я люблю магазин не за гам,
Не за разнообразие товаров —
Я хожу поклониться богам
В тесноте среди книжных завалов.*

*Там на полках стоят, как рабы,
Беззащитные в пестром потоке,
И своей ожидают судьбы
Терпеливые книжные боги.*

*А судьба их до боли странна.
В век расцвета труда и религий
Людям стала доступна цена,
Но ушло поклонение книге.*

*Пустоте головы и корзин
Мало пищи, таящейся в слое.
Тем отрадней, что книг магазин
Существует в не книжном Тамбове.*



Символ «Моей книги» — «Читающий Сашок». Скульптура украшает витрину магазина.



Мотивы детства.

АЛЕКСАНДРА КАЛЬНИЦКАЯ

КРЁСТНАЯ

РАССКАЗ 12+

Вечером, при свете керосиновой лампы, приехал поезд из двух телег «постель выкупать»: крестную выдавали замуж. Племянники, дети её старшего брата, толкались меж родни и живущих поблизости соседей и ждали, когда вдруг потребуются от них помощь и угостят пирогом.

Приехавшие за постелью мужик и две бабы дотошно рассматривали яркие цветастые занавески, прикидывали их размер и назначение, хлопая руками по подушкам и мяли перину — оценивали пышность, вес и прочность, перемеряли скатанные домотканые половики. Полотенца все были простые и, как говорили, реденькие, но красиво вышитые невестой, а по большей части её матерью, произвели одобрительное впечатление. Утварь состояла из самодельных и купленных в сельском магазине вещей. Ушат, коромысло, толкушка, скалки, весёлки, солонка, часть тарелок были деревянными, сделаны руками отца Степана Ивановича добротой и аккуратно. Ухваты, тагань и кочерга переданы по наследству, в родитель-

ском хозяйстве их было с достатком. Чугуны, кастрюли, корыто и вёдра утром привезли из магазина. Весь скраб разместили на телегах. К одной были привязаны тёлочка и полугодовая овечка от родителей, к другой — коза, подарок от старшего брата.

Дети увидели отъезжавшие с уздами телеги, помахивающие и подрагивающие хвосты двух лошадей, тёлочки, овцы и козы. Они ничего толком не поняли. Добро и скотину увезли неизвестно куда, а невесту оставили. «Так положено», — сказала бабушка Елена Алексеевна. Но не объяснила, кем и когда.

Утром за невестой приехали те же телеги, народу на них сегодня было побольше, а на простенькой двуколке сидел молодой человек с красным бумажным цветком, приколотым к пиджаку, — жених. Рядом с ним сидел другой молодой человек — с рушником через правое плечо, перевязанным рыльем узлом под левой рукой. Он всем распорядился, и его «слушались». «Этот — дружка», — пояснила бабушка.

Невесту выкупили быстро за деньги, которые вслух считали все присутствующие. Детям

показалось — много, но услышали неожиданно: «Так дешево не отдадим...» Купцы добавляли ещё несколько бумажек и стали развешивать вино из огромной бутылки в маленькие стаканчики. Досталось всем.

Под шутки, песни и обычный свадебный переполох невесту в старинном свадебном венке из белого воска и сохранившейся от матери фате посадили в двуколку рядом с молчаливым женихом. На краткий миг стало почти тихо. Потом вся процессия сорвалась с места и шумно умчалась в новую жизнь под звуки двух гармошек и весёлые песни. «Расписываться поехали», — подытожила тихо бабушка. Где и, главное, для чего будет расписываться вся эта пёстрая толпа, бабушка не сказала, но почему-то вытерла глаза концами платка.

На крыльце осталась девочка в платье яркого ситца, сшитом из остатков приданого. Дочка только что выкупленной невесты, рождённая после войны от контуженого односельчанина, растерянно смотрела вслед свадебному поезду. Сегодня и для неё началась новая жизнь.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БЫЛЬ

Глубокой январской ночью 1955 года в дом постучали. Негромкий, но настойчивый стук разбудил хозяев — ещё молодых людей, но уже родителей двух детей. Они сразу проснулись и спросили друг друга — кто же это может быть?

Метель, начавшаяся поздно вечером, гудела в печи и трубах, выла в невидимых щелях, ухала колодезной цепью за окнами, скрипела в покосившихся плетнях на огороде и гремела сорванным старым листом железа на крыше сарая. В дверь упорно стучали — к окнам подойти мешали сугробы. Увидеть изнутри, кто стучится, было невозможно. Окна заморожены толстым узорчатым слоем инея и наледи, а выюга бушевала такой густой белёсой пеленой, что не разглядеть и в двух шагах того, кто подошёл.

Проснулись дети — девочка-семилетка и мальчик трёх годов. Молча и внимательно наблюдали они за родителями из своих кроваток. К спинке одной из них была привязана маленькая ёлка, украшенная яркими бумажными игрушками. Мать подошла к ним, чуть прикоснувшись, поцеловала: «Спите, спите, ещё ночь, ещё долго вам спать...» Она тихо их уложила и накрыла

одеяльцами. Мальчик смироно уснул, а девочка, прикрыв глаза, уже сквозь сон прислушивалась.

Мать и отец оделись и вышли в сени.

— Кто там? — спокойным голосом спросил хозяин.

— Путник, со станции, с поезда иду, заблудился в метели, пустите переночевать.

— Заходи, — проговорил хозяин, вынимая засов и снимая дверной крючок.

В сени шагнул человек, занесённый снегом так, что скорее походил на снеговика, только глаза едва открывались из-под толстого льдистого слоя.

— Ради Христа пустите до утра, невозможно и шагу ступить, уж сил нету. Иду на другой конец, боюсь, не дойду.

Путника пустили в дом. Девочке показалось, что теперь метель ворвалась в комнату. Снимая заснеженный бушлат и ушанку, он рассказывал, что прибыл из Тамбова на поезде в восемь часов вечера. Началась метель. От станции Карман-Строганово до околицы села пять километров, да ещё до другой околицы пять — и всё пешком по глубокому снегу. Понял, что сбился с дороги, и постучал в первый дом, к которому смог подойти.

— Я к куму Пахому приехал, продуктик кое-каких взять и скобы заказать, весной свой дом хочу начинать в Пехотке.

От чая он отказался. На печи постелили старое одеяло, выдвинули подушку, а накрылся он своим бушлатом и сразу заснул. Уснула и девочка под ёлкой. Ей приснился Пахом, очень похожий на Деда Мороза из школьного утренника. Он протягивал уснувшему путнику «продуктики» — пряники в виде звезды, которые ещё вчера испекла бабушка Елена Алексеевна, жившая по соседству.

Через день, часов в пять утра, совсем еще в зимней темен, раздался неторопливый стук. Мать открыла дверь, и в комнату вошёл недавний нечаянный постоялец. Он поздравил всех с Рождеством и поставил на стол ещё тёплую трёхлитровую банку молока.

— Иду на станцию к поезду, в Тамбов. Спасибо за приют. Ещё увидимся, будьте здоровы!

Дочь таинственного Пахома, к которому шёл ночной незнакомец, Фаина, в скором времени стала женой родного дяди Серфима этих ребятшек, которые той далёкой ночью стали участниками незабываемого рождественского приключения.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ

ПАМЯТЬ ОКОН

НЕМОЙ ЭТЮД 12+

Железнодорожный вокзал. Перрон пуст. Косой скоротечный дождь шквальным потоком хлещет по чьм зря — по скамейкам, по забытым газетам, по окнам вокзала.

Вот он затихает, и, вылезая из своих укрытий, появляются бродячие собаки, пьют из луж и стряхивают с себя воду. Воздух заметно светлеет. С вёдрами и швабрами из дверей вокзала выходят две женщины в форменной одежде. Намывают окна, собирают оставшийся с ночи мусор.

Постепенно окна наполняются людьми с той и с другой стороны. Солнечный свет бликами играет на стекле. По громкой связи звучат объявления прибытий и отправлений поездов.

Людская волна то набегает, то вновь растекается по перрону, оставляя пустоту в окнах.

Пожилой человек с цветами находит своё отражение на стекле, поправляет галстук, приглаживает волосы, подёрнутые седью, и бес-

покойно поглядывает на часы. Он ходит вдоль стены вокзала, его силуэт появляется то в одном, то в другом окне.

Скоро перрон приходит в движение прибывающими людьми. Победным гудком железный состав возвещает о своём появлении. Седой человек, стараясь никому не помешать, подходит ближе и во все глаза внимательно следит за медленно проплывающими вагонами.

Многие люди встречаются, кто-то расстается. А окна бесстрастно взирают на всю суету, на то, что сейчас есть, а через минуту не станет.

Белокурая девочка встаёт перед окном, уверенным движением забирает волосы в хвост и, покрутив головой, убегает.

Седой человек остаётся один на платформе, перед глазами окон. Он всё ещё с надеждой оглядывается по сторонам, смотрит вслед уходящему поезду. Потом понурю садится на лавочку, расстегивает верхнюю пуговицу и ослабляет галстук.

Наступает вечер. Пожилой человек сидит там же, цветы лежат на коленях.

Наконец другой состав останавливается напротив. Мужчина привстаёт со скамейки и вглядывается в людей, выходящих из вагонов. Их немного, и платформа почти пуста. Вдруг он замечает кого-то, бежит, потом замедляется, идёт обратно, изредка оборачиваясь.

Вагоны уже мелькают в окнах вокзала так, что будто сам вокзал убегает прочь от поездов. Мужчина останавливается, безучастно смотрит на игру окон. В отражении стекла видит себя и ещё кого-то. Резко оборачивается. Вагоны один за другим в бесконечном множестве проносятся мимо. Рядом никого. Он оставляет букет на подоконнике и уходит, уходит не оглядываясь. А отражение остаётся и живёт. Два силуэта немолодых людей, мужчины и женщины. Они неподвижно стоят обнявшись. Бездушное перемещение окон прекращается. Шум поезда удаляется. И вновь никого.

НАДЕЖДА ЗОЛОТУХИНА

ЗА МНОЮ — УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ

Январь кончается, кончается зима,
Бездонной синью небо улетает.
Снег тускл и бледен, как и я сама,
Но надо мною Ангел расцветает...

Он, как и я, такой же невезух,
Приветствует меня наивным пенем,
Касаньем крыл вселяет Божий дух
И дарит — и забвеньем, и терпеньем.

Он в дереве — на столике моем,
К плечу его — губами припадаю.
В ночной тиши мы обнялись вдвоем,
И я прошу его... о чем... я знаю...

МАМЕ

За мною — Уральские горы,
Степная сухая трава,
Далекie ныне просторы...
Белеет моя голова.

У дома течет-уплывает
Знакомая с детства река.
В окошке привычно мелькает
Зовущая мамы рука...

Куда вы уносите, годы?
Где камешки те у ворот?
Что вынесли вы непогоды —
Их снег и гроза не берет.

Вот мне закалиться бы тоже
От боли вселенской и лжи,
Тогда продержусь еще, может,
Оттуда мне, мама, скажи.

АНДРЕЙ ХВОРОСТОВ

СМЕРТЬ МОЦАРТА

Поначалу Моцарта приняли за полтергейст. Как только наступила ночь, в комнате вдруг само собой начинало играть старое пианино, клавиш которого давно не касалась рука человека. Кто-то внутри инструмента тихо попискивал под беспорядочные звуки, как будто пытался петь.

Игра Моцарта не была виртуозной, да и в композициях не ощущалось буйства фантазии. Первый день он как взял три самые высокие ноты, так и чередовал их всю ночь без разбора. На следующий день он играл в более низком регистре.

Когда Моцарт добрался до середины клавиатуры, им заинтересовался кот. Он часами сидел возле инструмента, вслушиваясь в необычные импровизации, и временами подпевал исполнителю отрывистым мяуканьем.

Кот звал музыканта, но импровизатор не выходил. Да и зачем это было нужно? Пищи в старом пианино хватало. Дерево клавиш было обильно промазано старым, ещё советских времён столярным клеем.

А захочешь попить — вот капельки воды, которые вытекают из треснувшего цветочного горшка и просачиваются через щели инструмента.

Чтобы избавиться от Моцарта, хозяева решили позвать знакомого экстрасенса и медиума, бывшего иподиакона, изгнанного из церкви за пьянку и всяческие странности. Каждый день после лечения больных он занимался спиритизмом.

— Кажется, у нас в доме завелся барабашка, — пожаловалась ему хозяйка пианино. — Музыцирует по ночам, спать не дает.

Что ж, прогнать барабашку — дело важное. От густого запаха ладана, который воскурил бывший иподиакон, Моцарта начало под-

ташнить, дым щипал глаза и ноздри... Он чихал, пищал и носился внутри пианино.

— Так тебе, так! — ликовал бывший иподиакон.

Моцарт тем временем совсем выбился из сил и прилег в уголке инструмента.

Хозяин, обрадованный наступившей тишиной, достал из холодильника бутылку. Победа над врагом праздновалась до глубокой ночи. Под утро звуки возобновились. Моцарт играл и пищал как-то особенно вдохновенно, словно бы желая отомстить за свои дневные злоключения. Кот вторил ему как никогда истошно...

Сын хозяина дома первым догадался, что в пианино завелся не полтергейст, а обитает там какое-то живое существо. Как-то вечером он положил на пианино бутерброд с копченой колбасой — как раз возле большой щели. Игры в ту ночь никто не слышал. Зато утром мальчик заметил, что колбаса с бутерброда исчезла, и в тот же вечер повторил опыт.

Ночью тишину нарушало лишь чье-то шуршание.

— Я все понял! — обрадовался мальчик. — Чтобы музыкант перестал играть, его надо кормить.

Каждый вечер возле большой щели в крышке старого пианино он клал кусочек колбасы. По ночам семья стала спать спокойно.

Моцарт мог бы прожить в пианино много лет, если б не засох цветок в треснувшем горшке. Его перестали поливать, и вода больше не просачивалась под крышку пианино.

Смерть всегда приходит неожиданно, и какая разница, что становится ее причиной — жажда или лапы кота. Моцарт выбрал второе. Он умер под утро. Кот положил мышонка рядом с хозяйской дверью, ожидая, что за трофей ему нальют молока.

Единственным, кто наутро плакал, был мальчик.



После музыки.

Три российских императора — Екатерина Вторая, Павел Первый и Александр Первый — поручали Державину Г.Р. сложные и запутанные уголовные дела. Поэтому я и назвал повесть «Следователь по высочайшему повелению». Предлагается вашему вниманию адаптированный к газетной публикации отрывок из этого произведения.

Император Александр имел в голове список честных чиновников не ниже четвертого чина по Табели о рангах. Державин в нём занимал одно из первых мест. Думал о нём царь и сейчас, слушая доклад Каразина. Александр знал за собой слабость, несмотря на молодость, быстро приближать к себе нравившихся людей и почти так же без причины отталкивать разочаровавшихся. Приближённый Каразин пребывал в Москве по случаю коронации.

— Государь, переполнившись сверх всякой меры жалобами калужских дворян по большей части со столбовыми корнями фамилий, вынужден обратить ваше высочайшее внимание на противозаконные проступки и злоупотребительные действия калужского губернатора действительного статского советника Лопухина Дмитрия Ардалионовича.

— Давно он там султанничает?
— Ещё ваш покойный батюшка посылал.
— Это из каких Лопухиных?

— В прямом родстве с князем Лопухиным. Женат на Шереметьевой. Близок с Беклемишевым, Трошинским, Терсуновым... Надеюсь на связи и безнаказанность, позволяет он себе сини ни в какие ворота возмутительные дела. Есть же рамки дозволенного. Шалости крайние, неприличные, к соблазну всей губернии служащие...

— Прикажите явиться Державину.
23 ноября 1801 года поэт-сенатор явился в Зимний. Александр был сдержан, немногословен, выглядел уставшим после в распутицу дороги из Москвы.

— Решили мы послать тебя в Калугу. Вот доноси на Лопухина. По ним он не российский губернатор, а Нерон или шах персидский. Наврано, по обычаю, много, но, зная его, видно — и зерно тут, кроме плевел, есть. Поезжай и учини следствие дотошное, как ты умеешь.

— Ваше величество, рискуя навдечь ваш монарший гнев, ходатайствую об отклонении моей персоны по сему шепетильному поручению.

— Всегда ты со своим мнением, от моего отличимся. Изволь выполнять. Несносный у тебя характер. Забылся? С государем не спорят!

— Ваше величество, неудовольствие ваше и огорчения — высшая для меня беда. Получал я много поручений и приказаний от бабушки вашей и отца покойного. Вельможы ближние всегда надо мной верх брали, обманывая их. Прошу, государь, не оставить и на этот раз правду в затмении.

— Уверю тебя, что поступило как должно. Тебе следует, по моему разумению, отправиться сначала в Калугу под секретом. Тайно, якобы под видом отпуска. У тебя же там именные графини Брюс под опекой? Вот и покров удобный. Под удобной рукой прислушайся к молве вольной о Лопухине и его ближнем круге. Тебе лучше знать дознание скрытое...

Придумал Державин ловкий следственный ход. Росным ранним утром заехал он за Лопухиным и повёз под присмотром в присутствие. В громадной служебной зале, уставленной столами, сидели чиновники. Они хоть и сидели, но усердно работали. Совершенно разные внешне и внутренне люди нынче находились в едином сильнейшем трезвонении и раздвоенности. Тадаи, мучаясь в сомнении, чью сторону занять, — всё ещё губернатора Лопухина или высочайшего ревизора, вышлагающего долговязым журавлём. Даже фамилия у него — и та из высшего начальства, державная.

Чинишки делились между собой слухами, облетевшими всю губернию, что, мол, он все мемории и ордера стихами пишет, и не только пишет, но и говорит рифмами. Лопухина усадил он не на губернаторский трон из коричневой кожи с золотым тиснением, а на место секретаря-журналиста, тем самым как бы свергнув, лишив власти, а подчинённых лишив страха перед ним.

— Возьмите перо и напишите подробно всё обо всех незаконных делах и действиях, которые совершили вы по указанию своих столоничальников и самого губернатора. Перед каждым из вас, господа, выбор — ежли скроете от государева посланца правду, то выгнаны будете со службы без пенсина и пособия с вольным билетом, то есть с запрещением занимать любую вакансию в Российской империи. Истинная ваша повинная даст возможность рассмотреть оставление в занимаемой должности, несмотря на упущения и непорядки ваши. Времени на раздумья нету. Через час прошу покинуть сию залу, дав мне написанное. Да не забудьте обозначить вашу меморию на высочайшее имя.

Державин перевернул большие стеклянные песочные часы.

— Вытекает не только ваше прошлое и будущее, но и ваших семей.
Чиновники заворожённо уставились на тонкую белую струйку-нитку песка. Вместе с морским песком утекала их благополучная, безбедная, беззаботная, полная подношений, подарков по царским торжественным дням,

ВЛАДИМИР СЕЛИВЕРСТОВ

на именины, дни рождения, рождества, Пасхи жизнь. Из дюжины нашёлся один мятежник. С заднего стола поднялся маленький человек.

— Титулярный советник Соловьёв. Служу младшим эзекутором второго стола. Писать доносы и предавать людей — занятие небогосудное и подлое. Прошу уволить меня отсюда и со службы.

— Какова же ваша причина?
— Остаюсь порядочным человеком. Да, я служил передатчиком между просителями и его превосходительством. От статского советника Четверикова получал пятьсот рублей, от помещика Протасьева — 400 за межевание в его пользу ста десятин...

Державин перебил:
— Вы кто такой?
Смелец приосанился, подтянулся и даже вырос.

— Соловьёв Иван. Потомственный дворянин, но не изменщик и не предаватель.

— Может, вам кавалерству придать за это?
— Издеваться и вам, ваше высокопревосходительство, не позволю. Либо в железах в тюрьму, либо пустите с миром.

— Ну что ж, идите. Завтра с утра явитесь ко мне.

Державин собрал листки. Одинадцать оставшихся в полной мере изобличили своих начальников во главе с Лопухиным во всех смертных и жизненных грехах. Против провинностей калужского губернатора оказалось маловато, и Державин решил допросить сначала потерпевших, а уж потом взяться за Лопухина.

Первым прибыл фабрикант Гончаров. Помощники доложили: он подполковник в отставке, один из богатейших людей в округе. Владелец многих сотен десятин земли, суконной фабрики, чугунолитейного и стекольного заводов. Среднегодовой доход превышал 500 тысяч рублей.

— Проси.
Вошёл во всё, начиная с роста, средний человек. Только глаза, острые, цепкие, зоркие, меняющиеся мгновенно, выдавали сноровистую смекалку и оборотистую смену личности.
— Вот, Василий Васильевич, ваши жалобы на Высочайшее имя, поданные через знакомого вашего Каразина. В них всё описано согласно и соответственно действительным обстоятельствам.

— Да, ваше высокопревосходительство, всё так и было. Губернатор Лопухин 20 тысяч взял под вексель, а когда приспел день отдачи, прислал исправника Трофимова и чиновника по особым поручениям Олышанского. Они давай меня с дури пугать, что, мол, если вексель не верну, то пойду по Сибирке за похищение из казны 10 тысяч серебром. Да, делал я в Дворянском Банке заём на 100 тысяч. Весь он без остатка ушёл на завод стекольный. Закупал печи в Германии вкупе с мастерами Шульцем и Вайсом. Отчёты все в банке и казённой палате. Ну, я и струхнул. Против губернатора идти дороже 20 тысяч. Больше потеряешь, нежели найдёшь. Я вексель и отдал.

— Каковы имеются доказательства существования того векселя?
— Я в торговых делах битый. Тот вексель у стряпчего Трофимова в сохранении лежит, а отдавал его в присутствии купца первой гильдии Фалева и градского головы Бородина.
— А когда вы отдавали деньги губернатору, кто-то присутствовал?
— Михель Борис Иванович.

— А известно ли, куда Лопухин истратил ваши деньги?

— На подстёгу свою, девку публичную и на долги, передо мной сотворённые.

Вторым вошёл капитан полиции в отставке Хитрово.

— За что вы передавали губернатору Лопухину 5 тысяч рублей серебром?

— Возвращал долг, ранее взятый.

— С каких это пор генералы капитанам в долг дают? Да он с вами и разговаривать не стал бы о деньгах. Вы дурака тут не ваяйте. Где ваш родной брат Владимир?

— Уехал в Санкт-Петербург для дальнейшей жизни.

— Когда вы его видели, и было ли от него письмо?

— Под прошлое Рождество и уехал.

Державин дал знак секретарю. Тот вёл двух дюжих бородастых мужиков в барных полшубках, сразу заполнивших залу дёгтем и чесноком.

— Ну, говорите.

ДЕЛО ГУБЕРНАТОРА ЛОПУХИНА



Гавриль Романовичъ Державинъ.

Съ гравюры Гейзера, съдѣланной съ портрета Боровиковскаго.

— Дык, барин дал сто рублей. Мы таких денег отродясь... и велел дом брата его Владимира Тимофеевича поджечь, но сначала двери колом подпереть. Ну мы и содели, как велено было.

— Кто вас видел, как поджигали?
— Жёнка моя Акулька и кучер Епифан.

Хитрово загоготал.
— Да я таких видаков роту приведу в барный день.

— А падалище брата возле дома сгоревшего тоже я подсунул? Вести следующих.

Трое мужиков в лагтях и суконных поддеках вперлись в кабинет.

— Кто вам приказал останки брата барина вашего в сенях на пожарище найти и захоронить?

— Барин и приказал. Как сделали, так по целковому и одарил.

И тут Державин не выдержал, пошёл на недозволенную хитрость.

— Признаешь, что губернатор Лопухин скрыл твоё противоправство при убийстве брата, суд смягчит вину до малого.

— Ваше высокопревосходительство, дайте поработать до завтра.

— Думай, только в тюремной камере...

Перед Державиным лежал формулярный список на действительного статского советника Лопухина. Читая его, он невольно сравнивал свою карьеру с ровесником. Старался понять, как дворянин, дослужившийся до генеральского чина, став правителем губернии, позволил себе столь возмутительные дела, вольности неприличные, к соблазну других слабо стоятельных лиц.

Скоро приспело время допроса Лопухина. Он чем-то напоминал покойного светлейшего князя Потёмкина, но только внешне — крупностью, породистостью, манерами и пышностью одежды. Зная его приверженность к философским штучкам, Державин начал издадека.

— Николай Ардалионович, знаете ли вы, что свобода есть право делать всё, что дозволено законом? Если бы кто-то делал всё противозаконное, то у него не было бы свободы, другие делали бы то же самое.

— Монтескь! Он также утверждал, что люди легче приспосабливаются к сердёке, чем к крайности. Закон дано нарушать единицам.

Польза, приносимая законами, всегда смешана с великим вредом, милостивый государь мой. Вот вы берётесь судить меня, а кто вы такой и откуда? Не тебе Лопухиных судить! Дворянчик оренбургский захудалый. Фамилия твоя не от Державы пошла, а от того, что отец твой одной рукой коней придерживать мог. Худородец.

— Но чести, в отличие от тебя, за всю жизнь не урони.

— Известно, в человеке наёма больше, чем разума.

— Вы и сами — олицетворение тех библейских мерзостей. Вам будет предьявлено несколько тяжких обвинений, в том числе в злоупотреблении должностью, выходящем за пределы «Уложения о губерниях».

— Вы можете обвинить меня во всех смертных грехах. Я же отказываюсь вести с вами какие-либо беседы и прошу меня более не беспокоить. Общаться намерен только через заседания Правительствующего сената. Прощайте.

...Курьера с меморией дознания отправили в столицу 20 января. Вернулся он 15 февраля с состоявшимся по его донесению собственноручным Высочайшим Указом: «Объявите губернатору Лопухину, дабы он сдал должностную свою впрёд до указа вице-губернатору Козачковскому».

Губернатор Лопухин отчаянно и смятенно противился следствию и цеплялся за любую возможность опорочить следователя. Сегодня он собрал в своём дворце в имении Щелканова сообщников и соучастников.

— Тебе, Василий Иванович, доверяю важную миссию. Ты мой тайный особый курьер. Возьми четырёх драгун и мою карету. В Москве чтоб завтра были и всё развели. В первую голову отдашь пакет в Сенатский шестой департамент.

В пакете лежали жалобы на Державина от разных лиц, якобы подвергшихся с его стороны притеснениям и принуждению.

Державин как-то заполучил копии доносов, решил опровергнуть клевету и вызвал вице-губернатора Козачевского: «Соберите завтра в губернском правлении всех обвиняемых и в присутствии уголовной и гражданской Палат опросите, как проходили мои допросы».

В последний день своего пребывания в Калуге Державин обошёл Кремль, впереди его ждала столица.

Каменный Петербург весной молодой. Невский проспект расцветал разноцветными нарциссами и гирляндами цветов на клумбах и шляпках дам. Пестрели корзины с сиренью, черёмухой, подснежниками, ландышами. Державин спешил к императору. Окрылённый доверием и уважением монарха, он готовился доложить о данных ему поручениях.

Но поэт сложил крылья от неожиданного к нему охлаждения царя. Секретарь небрежно склонил голову в пренебрежительном поклоне.

— Вашему высокопревосходительству в приём отказано. Приказано явиться завтра в это же время.

Назавтра Александр холодно встретил его спиной. Стоя у окна, не поворачиваясь, произнёс: «На вас есть жалоба».

Но Державин не зря сутки готовился к отпору лопухинской партии, перетягивающей императора на свою сторону.

— Ваше величество, для своего оправдания представляю два рапорта губернатора Лопухина. Они датированы одним днём. В одном всеподданнейше пишет Вам, что губерния встревожена жестокостью Державина и следует вот-вот ожидать народных бунтов, а в другом на моё имя, что в губернии всё спокойно. Где истина, а где ложь?

Император долго изучал обе бумаги и потом сказал: «Напишите проект указа о предании Лопухина суду Правительствующего Сената».

И удивленно поднял брови, когда услышал ответ: «Ваше величество, вы изволили выразить сомнение в моей справедливости, а потому прошу пересмотра следствия».

— Что вы имеете в виду?

— Ввести в комитет по делу Лопухина, кроме графа Воронцова и меня, Зубова, Румянцова и Вязмитинова.

— Ну что ж, не возражаю.

Все дальнейшее оправдало предвидение Державина. Сильные люди в России и на этот раз оказались сильнее законов. К концу лета 1802 года граф Воронцов как председатель комиссии доносил высочайше: «Комитет тщательно сверил каждый документ в деле с подлинными показаниями подсудимых и потерпевших, так и заключением нашего сочлена Державина. Дел важных по всем обвинениям Лопухина оказались доказанными тридцать четыре. Признаны неважными и прекращены двенадцать. В том числе, по просьбе самого Державина, ложный на него рапорт Лопухина. При производстве следствия комиссия не усмотрела и малейших домогательств, притеснений и тем более истязаний кого бы то ни было...»

На докладе император крупно и жирно начертил: «Лопухина с содателями предать суду».

Предчувствия и предреkania Державина о том, что сильные мира сего уходят от справедливой кары, сбывлись в полной мере.

Хотя все соучастники губернаторских преступлений давно осуждены. Пошёл по Сибирке, звения кандалами, убийца брата помещик Хитрово, а Лопухин вёл праздный и разгульный образ жизни.

Через год после указа императора о предании его суду, в мае 1803 года, генерал-губернатор Москвы граф Растопчин писал князю Цицианову: «Ты увидишь, из этого дела выйдет самая слабая переписка и останется всё по-прежнему, по примеру Калужской истории, коей конца до сих пор нет. Лопухин, бывший губернатор, живёт очень весело в Петербурге, сообщники же его Уголовной палатой осуждены по всей строгости законов, и мне кажется, что весьма приятное и безопасное место — быть атаманом разбойников».

В конце 1804 года Растопчин вновь касается этого дела: «Московский Сенат нашёл Лопухина правым, и я не знаю, что теперь его защитник (т.е. князь Лопухин) и действительный тайный советник Трошинский отозвались, что они при суждении данного дела быть не могут по причине, что от некоторых участвующих в оном лиц изъявлены были неудовольствия и подозрения в покровительстве якобы ими губернатора Лопухина».

Державин, потеряв всякое терпение, будучи узавлён беспомощностью своих трудов праведных по доказыванию дел противоправных Лопухина, на очередном заседании сената 19 февраля 1806 года встал и, считав вновь своё обвинение, подвёл итог: «Всего дел по всем обвинениям действительного статского советника Лопухина Дмитрия Ардалионовича оказалось тридцать четыре. Признано неважными двенадцать. Сам я заявил отвод ещё по ложному его рапорту на меня. Брат-убийца, скрытый за мзду Лопухиным, признан к ссылке в Нерчинск, иные прикосновенные к делу лица осуждены к тяжким или лёгким мерам. Только один Лопухин упоминается везде мимоходом и никакого приговора по нём не постановлено. Прошу высказаться господ сенаторов по этому вопросу».

После недолгого молчания, как всегда, хмыкнул в начале и в конце военный министр Вязьмитинов: «Мои мнения уже известны его величеству, и я ссылаюсь на изъяснения и оценки, в них содержащиеся. Сколь ни тоloch воду в ступе...»

Министр коммерции Румянцев его поддержал:

— Гаврила Романыч! У нас что, другого дела мало, что вы через реестр о Лопухине вспоминали?

На том и закончили.

1.

Дачный сезон был в самом разгаре и сулил Петру Ивановичу неплохие дивиденды в виде хорошего урожая помидоров, огурцов, которые он уже начинал пробовать. Летом в его квартире, располагавшейся в панельном доме, было жарко, тяжело дышать и как-то уж слишком одиноко, несмотря на то что в городе всегда много людей. Все они сновали из стороны в сторону, поговорить было не с кем, на даче же всего пара соседей, но какие люди... И квартира, и дача ему достались за кропотливый труд в Цнинской средней школе номер один, откуда он с почётом ушёл на пенсию. Нужно было ухаживать за болевой супругой и воспитывать внука, который после её смерти стал его крестом и спасением одновременно. О дочери он говорить не любил, она была жива, но в последние десять лет не появлялась в доме — это всё, чем она помогала. Единственный её подарок — маленький внук Петя, который становился с каждым годом всё дороже.

Подвывая помидоры и аккуратно посыпая под них золу, Пётр Иванович в этот день не чувствовал безмятежного спокойствия и гармонии, которые так часто дарил природа. Внутренняя тревога и неприятное предчувствие бродили в нём. Уже два дня как не выходил на связь внук Петя. Да, он и раньше пропадал, но звонил и присылал смс. В эти дни на квартире он тоже не появлялся, соседка докладывала по телефону Петру Ивановичу обо всём, что происходит в подъезде. Петя уже был взрослый, учился в техникуме и на следующий год должен быть выпускником, а потом — на программиста. «Пусть гуляет, это нормально, он уже взрослый», — проговаривал про себя Пётр Иванович, когда внук задерживался или оставался ночевать не дома. При этом он часто вспоминал, как был строг с дочерью и какой совершенно обратный эффект это дало. С Петей он был мягок и добр, да и сам мальчик звонил, общался, что останется ночевать, например, у друга, чувствовал волнение старика.

Сейчас же Пётр Иванович, обходя свои шесть соток, невольно смотрел то на мяч под лестницей, то на турник, который они делали вместе с Петей, садился и видел различные надписи, сделанные увлечённой рукой внука на скамейке, с названиями машин, музыкальных групп. Всё напоминало о нём, музика и бросалось в глаза больше обычного. Вечером, изнурился себя тяжёлым трудом, уставший Пётр Иванович старался заснуть. Мешали сверчки и квакающие лягушки, которые обычно убаюкивали его, а сегодня прогоняли сон. Пару раз вставал, включал телевизор, от которого становилось дурно.

2.

Утром на дачном столе завибрировал кнопочный телефон, перевязанный изолентой посередине.

— Алло, Пётр Иванович?

— Да, здравствуйте.

— Здравствуйте, меня попросил с вами связаться и встретиться ваш внук, он сейчас задержан и находится в полиции. Моя фамилия Култев, я адвокат.

— Да, хорошо, а что случилось? — сдерживая волнение, спросил Пётр Иванович.

— Не беспокойтесь, он жив-здоров, но нам лучше поговорить не по телефону. Я могу подъехать к вам, сообщите адрес.

— Я сейчас живу на даче, это пригородный лес, СНТ «Маяк», восьмой участок рядом с перекрёстком. Как будете подъезжать, позвоните, я выйду и встречу вас. Участок рядом с асфальтированной дорогой.

— Хорошо, буду через полчаса.

Пётр Иванович, не дожидаясь звонка, уже через десять минут стоял на асфальтированной дороге, ждал, сухо здороваясь с редко проезжающими машинками, ждал неизвестную — с адвокатом. Он никогда раньше не имел дела с адвокатами так близко. Слышал от друзей, что кто-то нанимал адвоката, однажды в суде адвокат допрашивал его как свидетеля по школьному случаю, он тогда был завучем и отвечал за дисциплину, трудных подростков. На этом его отношение с адвокатским словесием закончилось, и сейчас он слабо представлял встречу и разговор, ему было немного страшно, но это было очень важно, и он ждал, пристроившись в тени у забора. Через четверть часа показался солидный чёрный автомобиль, в котором сидел человек, одетый в белую рубашку, глаза его были скрыты за солнцезащитными очками. Он сразу понял — это адвокат, и вышел навстречу, указывая рукой направление к даче, и сам проследовал за ним. Автомобиль аккуратно доехал до калитки дачи, сбивая низким передним бампером пушистые головы одуванчиков.

— Хорошо, что у вас дача рядом с городом. Я, конечно, сказал, что подъеду переговорить, но всё же спешу. Если позволите, то без чая и сахара, сразу о делах, — сообщил адвокат, как только вышел из машины, смотря на современные наручные часы, нажимая на их экран пальцем.

— Да, конечно, спасибо что нашли время приехать, пойдёмте за мной, — провозгласил Пётр Иванович до небольшой веранды садового домика. — Рассказывайте, пожалуйста, что с моим внуком.

Адвокат снял очки и положил на стол, открыв серые выгоревшие глаза.



Неслышимый разговор.

ВЛАДИМИР САМОРОДОВ

ДАЧА

— Ваш внук попал в неприятную историю. Позавчера он был задержан в составе группы лиц по подозрению в распространении наркотиков. Это двести двадцать восьмая статья Уголовного кодекса, а распространение в группе лиц — это тяжкий состав. Сейчас с ним проводятся следственные действия, и завтра будет судом избрана мера пресечения. Это, вероятно, будет содержание под стражей на период следствия, так как, повторюсь, статья тяжкая и ему вменяется группа.

Пётр Иванович не мог ничего сказать и только нервно подкашливал, смотря на гладко выбритую загорелую голову адвоката.

— Я с ним виделся, он держится молодцом, спрашивал про вас, попросил связаться. Странно, я спросил про родителей — он молчал. Поэтом связался именно с вами, так как, я понимаю, вы принимаете в семье решения? — Адвокат взглянул на молчавшего и слушающего собеседника и продолжил: — Главное, что на данный момент могу вам рассказать из обстоятельств уголовного дела и что мне сейчас достоверно известно, — это что ваш внук вместе ещё с двумя знакомыми ездил и развозил наркотики метилфедрон на автомобиле, они оставили закладки и давали координаты потребителям, где их искать.

— Не может быть, — тихо вырвалось у Петра Ивановича, и он опять нервно закашлялся.

— Может, сейчас это сплэш и рядом, но я не договорил. Сам Петя мне сообщил, что катался за компанию, о наркотиках знать не знал, в руки их не брал и, естественно, никакой прибыли не получал. Он просто, как говорят, оказался в неподходящее время в ненужном месте, то бишь в машине, когда опера их поймали. Видимо, подрабатывал его дружок втихаря, Виталик, кажется, зовут, и ещё третий парнишка — имя не помню, — он оказался ментовским.

Пётр Иванович сразу вспомнил Виталика, которого уже отчислили из техникума. И он столько раз хотел Пете сказать, чтоб меньше водился с ним, но откладывал. О другом только мог догадываться, как и о значении последнего произнесённого адвокатом слова.

— Но, несмотря на это, — продолжал адвокат, — дело является серьёзным, просто слов о том, что он не при делах, мало, и, по моей информации, новый начальник госнаркоконтроля будет настаивать на группе, это для него важно. Отчитаются, что поймали группу, раскрываемость вырастет, никто не будет копать, что там пара пацанов и один вообще не при делах. Кроме того, сейчас появилась информация, что сдал их третий парень, который сотрудничает с ментами, он наркоман вроде и скажет всё, что захочет следствие. В общем, вашего внука могут спокойно сделать распространителем. Мне очень жаль.

— Что я могу сделать? Вы можете помочь? — как придавленный, произнес Пётр Иванович.

— Я могу попробовать помочь. Это не просто, но у меня есть связи в прокуратуре, и мы можем попробовать.

— Что от меня нужно, точнее — сколько? — как-то, сам не зная почему, Пётр Иванович прибавил последнюю фразу.

Адвокат достал мобильник с большим сенсорным экраном и вместо набора телефонного номера на дисплее набрал цифру в пятьсот тысяч и показал собеседнику. Пётр Иванович посмотрел и ещё раз приблизил лицо к большому дисплею телефона рассмотреть полученные цифры, но огромная для него цифра не уменьшилась, не изменилась. Ровно столько же два года назад ему предлагали за дачу. Тогда он посмеялся, по-

думая, что никогда не обменяет этот летний рай на бумажки. И дача, и квартира должны были достаться внуку, который скоро отучится, женится и не будет ни в чём нуждаться.

— Когда я должен найти эти деньги?

— В самое ближайшее время, максимум — неделя, иначе всё будет ещё более сложно. Если вы готовы работать на этих условиях, я буду ждать звонка. И ещё, прошу, не задавайте мне лишних вопросов. Всё, что можно, я вам уже рассказал. В ближайшее время увижусь с ним. Что-то передать?

— Нет, не надо. Он не преступник, понимаете? — ответил Пётр Иванович, провозгласив адвоката, который, ничего не ответив, сел в машину.

Адвокат уже давно не делил людей на преступников и не преступников, это было следствие профессиональной деформации. Чёрный автомобиль со значком мерседеса плавно покидал дачный массив. Пётр Иванович узнал марку автомобиля: такой же Петя рисовал на столе, и он же красовался в его школьном дневнике на обложке.

3.

Адвокат был прав, что решения в семье принимал Пётр Иванович, семье из двух человек — деда и внука. У уважаемого завуча на пенсию Петра Ивановича не было такой суммы, из крупных сбережений — только пятьдесят тысяч «гробовых». Он содержал квартиру и дачу, обеспечивал всем внука и сейчас даже не задумывался, продавать ли дачу или нет. Он думал, за сколько и кому.

Он ещё раз обшел в глубокой задумчивости свои владения, решая, подавать ли объявление о продаже или узнать через знакомых, кому нужна дача. И подумал, что более логичным будет продать через знакомых: продавать по объявлению, хоть и в сезон, очень долго. Не было времени.

Уже через два дня Пётр Иванович показывал дачный участок молодому парню, как оказалось, знакомому по школе. Он шустро всё осматривал, измерял участок рулеткой. Пётр Иванович пытался рассказать о раскаде, теплице и деревьях, посаженных на участке. Это, по его мнению, должно было увеличить стоимость участка.

— Дядь Петь, да эти деревья с рассадкой мне не нужны, хочешь — их с собой возьми, я буду брать под коммерческое использование, тут можно очередную точку открыть по торговле стройматериалами. Тут народ активно строится, я этим занимаюсь, понимаешь, — сказал ему молодой парень. — Могу четыреста пятьдесят тысяч дать, если продавать реально собрался, — добавил он.

— Так два года назад мне пятьсот предлагали.

— Я сейчас покупаю, а где тебе сейчас срочно что купить, поэтому только четыреста пятьдесят, деревья и рассадку можешь забирать. Деньги могу отдать хоть сегодня, как договор подпишем.

Утром позвонил телефон, и Пётр Иванович вздрогнул, готовя себе яичницу.

— Алло, здравствуйте, Пётр Иванович? — спокойно проговорил адвокат.

— Здравствуйте.

— Мы работаем дальше?

— Да, сегодня после обеда можете приезжать, я собрал.

— Мне приехать по тому же адресу?

— Нет, приезжайте на Лермонтовскую, к магазину «Огонёк», так вам удобнее будет меня найти, и позвоните мне, я подойду. — Пётр Иванович не хотел видеться рядом с подъездом с ад-

вокатом и привлекать лишнее внимание, поэтому решил встретиться у магазина.

— Хорошо, я позволю.

Пётр Иванович опустил телефон и смотрел на его старый выцветший и потёртый корпус с природной изолентой. Случившееся, кажется, активизировало все его силы, накопленные на последние десять лет обычной счастливой жизни, он был готов действовать, готов помогать, но не знал, как и чем. Единственную связь с внуком давал адвокат, вселявший надежду на скорую встречу с родным человеком. Если бы сегодня ему сказали, что шансы, что деньги сработают и обеспечат скорую встречу, снизились до одного процента, он бы всё равно их передал. Купил бы свою надежду.

Пройдясь по улице и встретив уже нескольких назойливых знакомых дачников, расспрашивавших про урожай, подкорм яблонь и груш, советовавших новые методики обработки разных культур, услышанные из радио, и сейчас даже не представлявших, насколько это уже не интересно и ненужно дачному гуру Петру Ивановичу. Сейчас всё это для него было как в прошлой жизни, такой далёкой, и счастливой, и, как оказалось, хрупкой, что он боялся об этом вспоминать. Он подошёл поближе к «Огоньку» и стал ждать на лавочке звонка. В левом кармане рубашки завибрировал телефон. «Подъехал», — подумал Пётр Иванович.

Сев в автомобиль адвоката, Пётр Иванович первый раз очутился в прохладном кожаном салоне европейского авто, в котором не было привычных православных иконок, закреплённых на передней панели, и кассетного магнитофона, как в его давно проданной «семерке». Здесь везде были сенсорные экраны, незнакомый ему запах кожи и пластика нового автомобиля, перемешанный с искусственным ароматизатором. Было совершенно не понятно, работает ли двигатель или нет, лишь немного покачивалась змейка сербристого цвета на зеркале заднего вида, как будто бы несколько раз сверкнувшая на солнце драгоценным глазом.

— Скорее всего, следователь в ближайшее время не даст свиданку, пока ваш внук не признает вину. А признание вины означает обрушение наших планов и стопроцентный обвинительный приговор, поэтому пока придётся поддерживать связь через меня, — сразу начал разговор адвокат.

— Понятно. Как он там? Вы его видели?

— Да, всё нормально. Он сейчас в «Тройке» находится, это в Мичуринске, все следственные действия проходят там. Пока стоит на своём, что не совершал, я поддерживаю, как могу, но, сами понимаете, без денег это сложно в нынешнее время.

Пётр Иванович как-то опомнился, и достал из платяной сумки, сшитой покойной супругой, увесистый свёрток в белом непрозрачном пакете, и автоматически протянул его адвокату.

— Вот, дача.

— Что? — с мимикой непонявшего спросил адвокат.

— Ой, извините, вот деньги, тут все, можете пересчитать.

— Положите вот сюда, — он указал на мягко открывающийся рот бардачок с синей неоновой подсветкой. Через минуту он съел аккуратно положенные туда Петром Ивановичем деньги.

— Тогда будем в связи, понадобится месяца два, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация. Будем на связи, мой номер телефона у вас есть. Что-то передать внуку?

— Нет, ничего, постарайтесь его вытащить

оттуда, — ответил Пётр Иванович и вышел из машины.

«Целых два месяца — это всё оставшееся лето и начало осени», — подумал Пётр Иванович.

Они прошли для него в статусе одинокого пенсионера. Иногда он просыпался утром ко времени первого дачного автобуса по привычке, но быстро понимал, что на остановку идти нет никакого резона, ехать некуда, просматривал смс, не написал ли внук, но смс не было.

Он боялся сам звонить адвокату и безрезультатно ждал его звонка. Прошло два месяца, и он всё же решил позвонить. Нашёл в короткой истории звонков его номер и нажал вызов.

— Алло, Пётр Иванович?

— Да, я звоню узнать, как дела по делу моего внука?

— Да, намеревался вам звонить. К сожалению, дело поправить не удалось, слишком карьерный этот начальник попался, с наркотиками сейчас всё ужесточают. Говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. В прокуратуре не стали обострять, ведь у нас, кроме положительной характеристики, мало что есть из доказательств. Я посоветовал Пете дать признательные показания, и дело быстро уйдёт в суд. В сложившейся ситуации это лучший для него выход: получить ниже низшего, семь-восемь лет вместо десяти. А два года там ещё протянуть надо. Он скоро получит свидание от следователя, сможете увидеться.

— А как же так?

— Извините, я сделал всё, что мог, будем на связи, но этот вопрос решён именно так, не всё от меня зависит. До свидания.

Пётр Иванович хотел спросить что-то ещё, но связь прекратилась.

Не сразу понявший, что произошло, Пётр Иванович присел на табуретку. Ему стало страшно, и защемило сердце перед осознанием встречи там, в бетонных застенках, с Петей. Что он ему скажет, что не смог ему помочь, что он для него...

Через час он пришёл в себя и подумал перезвонить адвокату, узнать адрес СИЗО и как туда попасть, но нежелание с ним больше общаться пересилило, и он подумал, что сам на днях узнает всю информацию.

Через пару дней, пообщавшись со знакомыми и полунемками выведывая различную информацию, как попасть на свидание, если человек за решёткой и т.д., он понял, что никто ничего точно не знает и всеми этими вопросами занимаются адвокаты. Он даже ходил на консультацию, но там начали навязывать помощь за деньги, и он оставил эти мытарства. Единственное, что ему удалось точно узнать, — это адрес следственного изолятора, где содержался внук, и что туда невозможно просто так попасть, поступившись в дверь. Надо было звонить адвокату, но пришло письмо со странным синим штампом со множеством букв-сокращений и цифр. Он успел лишь рассмотреть «ФКУ СИЗО-3» и ставший недавно знакомым адрес. Это было письмо от Пети. Он зашёл в квартиру и, перебарывая страх, открыл и стал читать.

4.

«Дорогой дед!

Прости, что так долго не писал тебе и только сейчас осмелился написать первое письмо. Здесь, где я нахожусь, кажется, что ты уже никому не нужен на белом свете, но я-то знаю, что это не так, и никогда бы не поверил, что ты про меня забыл. Ты, скорее всего, знаешь, что произошло, и мне нет необходимости всё пересказывать, да и незачем, только знай, что я наркотиком не сбывал, так сложились обстоятельства. Здесь многое осознаётся по-другому, и я понял, что дорожке тебя у меня никого нет. Я часто вспоминаю нашу дачу, турник, сделанный вместе, где мы играли в лсенку, ту яблоню, которую назвала бабушкой, помидоры, которые я так не хотел поливать и не понимал, почему мы их не купим в магазине. Не всё можно купить. Тут много книг, сейчас читаю роман «Воскресение» Толстого, как ты и советовал. Почему я не слушал тебя раньше?.. Я так мало в последнее время тебе помогал и был с тобой рядом. Мне очень хочется с тобой увидеться, но не в бетонных застенках под видеокамерами, а там, на нашей цветущей уютной даче на летней веранде. Я верю, что скоро вернусь домой и обязательно всё так и будет. Всё будет, как раньше.

Мне пришлось признать вину, так будет лучше и легче, понимаешь? На днях моё дело поступает в суд, но я уже буду далеко, я не могу больше находиться здесь и тем более не смогу выдержать так семь или восемь лет. Вчера я подписал контракт и завтра отправляюсь на сборы, чтоб участвовать в СВО. Говорят, там отпускают уже через полгода или после ранения. Надо только пережить эту зиму, а потом обязательно будет лето. Ты сюда не приезжай, меня уже не застанешь, я сам дам знать о себе. Твой внук Петя. Прости меня».

Пётр Иванович положил на колени письмо и около получаса сидел неподвижно, потом аккуратно положил его на стол и пошёл что-то искать. Из дальнего полки шкафа он достал кучу разного белья, и потом в его руках засветилась небольшая икона Божьей Матери. Он аккуратно протер её. Она лежала нетронутой в шкафу с момента смерти супруги. Поставил её на комод и стал молиться.

17.08.2024 г.

АННА СКОТНИКОВА

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

Татьяна проживала лучшую пору: жизнь учила ее не расставанием, разрывом, а всего лишь разлукой. «Ведь уход из жизни дорогого человека — это не разочароваться друг в друге. Вот это — страшно!.. А так — ... это же не навсегда», — так несвело размышляла она. Ее спутниками на некоторое время стали осень и мама. Царское село и любимый поэт. Но окружающее ее пространство воспринималось только с мыслями о Сергее.

...

Чувство причастности к великому не покидало обеих: позади оставались вековые стены, бережно хранящие, казалось, само присутствие духа, некогда жившего великого, но более — великодушного, и, пожалуй, милостивого человека. Камеронова галерея обозначала аллею, ведущую к Большому пруду и деве над ручьем.

— Мам, тебе же виднее, — немного в голос возвращались ноты когда-то свойственной Татьяне легкой, всегда безобидной иронии, — рядом кувшин или все-таки амфора?

— Так ведь об урне, по-моему, шла речь... Нет, не вспомню уже, — Тамара Андреевна, женщина красоты, проживающей пору «пышного увядания», без сомнений, представляла собой воплощенный образ будущей Татьяны. Несколько полное тело с осязанным усилием, несмотря на возраст, держала в вертикали, спускаясь по ступеням Екатерининского дворца, и, почти литературно, на одном дыхании добавила, — когда еще доведется побывать? Кто знает? Кто скажет?

Задумчиво и одновременно торжественно в своей непоколебимой высоте уходили в синеватую даль кроны деревьев — парк обнимал, утешал, выпускал своих гостей: одну — в пору осени своей жизни, такой же поздней, как и морозный излет ноября, другую — в осень — с трудом, с нечеловеческими усилиями переживаемую тоску. Над линией горизонта небо сурово ступало до мглы, но поднимаясь выше, теряло прежнюю неприветливость, становясь чуть светлее, обещая к утру чистую небесную лазурь по-зимнему морозного дня.

«Знаешь, — Тамара Андреевна не сразу расслышала ее голос, отчетливо звучащий в пустынной аллее, — я была уверена, что мы с Сергеем Витальевичем приедем сюда. Так часто я представляла, что он подходит к этой скамье и начинает разговор на тему, как всегда ни с чем не связанную, как будто такой пустяк — мы — здесь!..»

...Мать и дочь по-своему проживали и увиденное (мысли не покидало: «Ступайте, больше вместить не можете»). Ведь это даже не экс-

курсии — бесконечные признания в любви по-эту. Да, именно! Гиды, которые десятилетиями трудились здесь, совершенно точно, Татьяна не сомневалась в этом, любили не просто пушкинскую поэзию, они любили его как человека, — не примирившегося с подлостью и примирившегося с неизбежностью. Они любили его жизнь, такую же, как и он, — стремительную, удивительную в своих бесконечных противоречиях. Да и как возможно, изучая, не полюбить того, кто занял собой все твоё время и силы, твои мысли...

...Татьяна начинала знакомиться с ним по коротким суждениям, передаваемым от него коллегами в качестве настоятельных рекомендаций как старшего по должности и опыту. Но даже тогда, пытаясь понять, что это за человек, засыпающий ее нескончаемым, как ей казалось, докучливым бюрократическим хламом, постепенно начинала осознавать привязанность, даже потребность в том, чтобы этот кто-то, пока невидимый, скрытый, существующий в словах, так и продолжал указывать, куда идти...

Пытаясь изучить, изучаемое можно полюбить. И даже нужно. В таком случае понимаешь гораздо больше, как будто открывается в мир не маленькое оконце, а распахивается вся анфилада — и станут точно парус корабля портьеры — так сильно ветер наполнит их воздухом, а перед тобой в одно мгновение распахнется вид на парк, и вид этот будет таким, будто ты летящий над землей, а она — в узоре клубов и гротов. Полет, заставляющий касаться макушек заснеженных ясеней и клёнов, будет столько долгим, сколько хватит дыхания, чтобы вынести это очарование.

...Точно таким и было чувство — полета, — когда Татьяна однажды все-таки увидела его. Строгий профиль, прямой взгляд вперед, скорее самоуверенный, но в то же время всегда внимательный и отчего-то печальный, представлялась ей. Чувство опеки над ним, сочувствия вынужденному его одиночеству и отчего-то сожаления, — не жалости, унижающей, нежеланной, но — сожаления, зарождалась и была нелогична, как и все, что происходило тогда. Они были новыми и они были необходимыми.

В то же время, вспоминая его, звучало в памяти: «...а глаза грустные-грустные!..», — так, бывало, он говорил, глядя на нее. При этом обводил контур лица глазами, на протяжении их бесед безвозвратно терял беспристрастность, глядя даже несколько восхищенно-пораженным, будто видит в этот момент совсем не Татьяну, а чей-то образ, того, кто на не постижимой ему высоте. В такие моменты Татьяна думала без горечи: «Господи... Что будет...»

Открытый лоб хранил печать тяжелых дней его жизни — шрам во всю высоту лба, едва заметный, — след от перенесенных операций



Почтенный О.Л. «Фонтан.Разбитый кувшин.Царское село». 1992.

после ранений в боевых действиях. Сергей Витальевич всегда казался значительно старше своих лет, и среди ровесников его почитали за того, кто скажет финальное слово, несмотря на то, что этого не всегда требовали обстоятельства. Просто окружающие привыкли, как только он появился в коллективе, что этот прямолинейный, и в своей прямолинейности доходящий порой до грубости человек, всегда верно подскажет и направит.

До конца она так и не сказала даже себе, что это было за чувство. Чувство полета — и это все, что точно, определенно, отличительно жило в ней к этому человеку.

По-матерински притянув к себе Татьяну, Тамара Андреевна дыханием грела замерзшие пальцы, не сразу как-то сказала: «А вот я была уверена... — начала она, — что все останутся живы и здоровы. Ну или хотя бы просто... живы, — спрятав в теплую муфту руки, женщины задумчиво смотрела на ледяную гладь пруда.

«И до меня не доходило. Мне стыдно. Мне так стыдно...», — в глазах Татьяны наливались слезы и сами собой, незаметно исчезали. Потом появлялись снова...

«За что стыдно? — Тамара Андреевна умела задавать вопросы так, как будто это было утверждение.

«За недалекость. Ему было больно, а я ничего не понимала... Но почему он молчал?!» — так их диалог постепенно превращался в поток Таниных мыслей.

Татьяна, ненадолго забыв про обжигающий холод, выпрямилась, оголив шею, но тут же нырнула до губ в толщу шарфа, чуть нахохлившись, как птица. Повернувшись всем корпусом к матери, она смотрела, как ее задумчивый взгляд был устремлен на противоположный берег, как будто там, на другом берегу, и крылась загадка. И думала все трое: и дева, что с кувшином, или с амфорой, или с урной (так они и не выяснили) «вечно печальна сидит», задумавшись над Таниным вопросом, и мать, жизненный опыт которой оказался таким беспомощным, и беззащитная в своей печали Татьяна.

...После самого продолжительного их объяснения сама природа стояла на перепутье. Надвигающийся март едва моросил дождем, теплом касался сугробов, а они, тая, заполняли посте-

пенно водой улицы до самого момента их встречи, долгожданной, когда никому невозможно рассказать, что ждешь и как ждешь. Но как только все ожидание, накопленное долго-долго, пролилось рекой из самых нужных слов, февраль снова выжила, закручивая ветром, как в танце, и снег, и дождь, не уступая весне.

...Спасительной становилась еще и мысль, медленно перерастающая в твердую уверенность, что жизнь, как это ледяное стекло пруда, — просто существует и существует безусловно, пусть в разных формах, но, главное, она есть и не прекращает быть!

Пряча замерзающее лицо то в муфту, то, подняв плечи, в шаль, женщина чуть прибавила шаг, а Татьяна без возражений последовала примеру, отчасти сроднилась и с северным ветром тоже, лишь немного влажные глаза, выразительные, действительно грустные глаза позволяла холоду быть ошутимее.

Между тем, парк, выпуская гостей из объятий, по-прежнему зазывно для мира, почти мистически в предстоящей ночи мерцал огнем, огнями дворца и, как пограничного форпоста, — огнями Эрмитажа.

СЕМЁН ЗОЛОТУХИН

АЛЛЕЯ СТАРЫХ ЛИП

РАССКАЗ 12+

В каждом уездном городе срединной России есть свой городской сад. Вдоль аллеи такого сада ещё кое-где сохраняются скульптуры советского времени — девушки с вёслами, пионеры с горнами, дискоболы и молотобойцы...

Такой сад сохранился и в городе, в котором вот уже пятьдесят лет проживал Виталий Павлович Варсонофьев, кудрявый седой неторопливый человек среднего роста и обычных правил, тридцать лет работающий юрисконсультантом на главном, градообразующем оборонном предприятии.

Все тридцать лет своей работы Виталий Павлович ходил на неё пешком, что называется, туда-сюда, и ходил он как раз через городской сад, так как это был самый удобный и приятный путь.

Тот самый оборонный завод находился на одном краю сада, а дом, в котором проживал Варсонофьев, — на другом.

Виталий Павлович жил в том же доме и в той же квартире, где и его родители. Они десять лет назад ушли — почти одновременно, как старосветские помещики. Варсонофьев был их единственным ребёнком.

Виталий Павлович семейного счастья себе не составил — так уж пришлося.

Когда-то, в семидесятые годы века двадцатого, родители Варсонофьева приехали в этот уездный городок из далекого Ленинграда по распределению, на этот самый оборонный завод, всю жизнь проработали там инженерами в конструкторском бюро и прочно осели.

И они много десятков лет ходили пешком из дома на завод — через тот же огромный городской сад.

«Летний сад — мой огород», — так часто отец, ведя за руку маленького Варсонофьева по городскому саду их уездного городка, вспоминал и цитировал Пушкина, коего был страстным почитателем и приверженцем.

Отец и сын часто прогуливались по центральной аллее, состоящей из старых высоких лип.

— Знаешь, Виталий, а ведь я жил, как Пушкин... Каждый день ходил в Летний сад, сначала с папой и мамой, потом с товарищами по дому и школе, потом студентом, даже спал там как-то после обильных студенческих возлияний, представляешь, прямо на скамье заснул, но всё культурно, конечно... Особенно любил Аллею Старых Лип и скульптуру Амура и Психеи. И именно там я познакомился с мамой, она в задумчивости сидела на скамейке, в руках у неё был томик Блока... Объяснилась с ней я тоже в Летнем саду, уже около статуи Флоры...

Когда отец вспоминал это и рассказывал подростку сыну, то он прикрывал глаза, а потом вслух читал стихи Блока...

Обычно, проходя мимо статуи девушки с вёслами, которая как раз находилась посреди липовой аллеи в городском саду, отец приостанавливался возле гипсовой девушки, изысканным жестом показывая на неё сыну, говорил:

— А ведь, сын мой, это наша, уездная статуя Флоры или Юности. И вообще, знаешь, этот сад и для тебя, и для нас с мамой уже, наверное, навсегда наш Летний сад, огород... какой-то путь...

Виталий Павлович любил, вернувшись по старой липовой аллее к себе домой, в квартиру, поздоровавшись с портретами родителей, неспешно приготовить нехитрый ужин, заварить душистый чай, уютно расположиться под старым торшером в потёртом кресле среди книжных стеллажей. До книг его родители были большие охотники и библиотеку собрали порядочную.

Варсонофьев открывал книгу, начинал читать, часто просто вслух... и уплывал... либо в прозу Бунина, либо в поэзию Блока...

Не так давно, после того как ему исполнилось пятьдесят лет, Виталий Павлович как-то странно и случайно обнаружил в себе тягу к

сочинительству, как говорится, руки его потянулись к перу, перо к бумаге, и...

Вначале это были скромные, робкие наброски, попытки, отдельные фразы и предложения, даже слова... но потом Варсонофьев, что называется, «расписался». И что бы он стал писать? Нет, не стихи, не рассказы и даже не романы... он стал сочинять пьесы.

В поисках вдохновения Виталий Павлович, гуляя по городскому саду, останавливаясь перед гипсовыми статуями, думал с какой-то тихой уверенной радостью, что он — наследник Шекспира, Мольера и Пушкина...

Он написал пять пьес. Стал думать, что они не могут просто лежать в столе — просятся на сцену.

В уездном городке, кроме городского сада, был и театр, куда сначала ходили родители Варсонофьева, а потом и он сам. В то время, о котором идёт речь, режиссёром театра был господин Бовин Борис Борисович.

Виталий Павлович после довольно долгих раздумий решился, несмотря на отсутствие симпатии к этому человеку, принести ему свои пьесы для прочтения.

Виталий Павлович постучался в дверь Бовина и приоткрыл дверь. Режиссёр сидел за массивным столом, развалившись в огромном кожаном кресле.

— Добрый день, Борис Борисович, к вам можно? Вот принёс вам для прочтения свои пьесы... Можно их пока предварительно просмотреть. Я коротко поясню кое-какие моменты, а потом уже, когда найдёте время, сможете погрузиться в чтение, — с врождённой деликатностью произнёс Виталий Павлович.

Брови Бовина поползли вверх, и он неожиданно для Варсонофьева расхохотался, а затем резко добавил:

— Послушайте, у меня нет времени выслушивать ваши импровизации. Давайте пьесы, я посмотрю, а потом позвоните мне, и я вам выскажу свое мнение.

Весь вечер Виталий Павлович возвращался к воспоминанию о своём визите в театр. Он уж и не рад был, что отдал свои пьесы Бовину. Способен ли этот человек оценить глубину его замысла и изящество стиля, особенно последней его пьесы «Амур и Психея»?..

Несмотря на то, что Бовин сказал ему, чтобы он позвонил сам, Варсонофьев по какой-то самому ему непонятной причине не делал этого, а ждал почему-то звонка от режиссёра.

Как писал ранее сочинители, случай решил всё дело. Однажды Виталий Павлович, как обычно, шёл с работы домой и у статуи пионера с барабаном столкнулся с Бовиным.

Варсонофьев спросил его о своих пьесах. Бовин, вытаращив глаза, стал почти кричать на него:

— Что вы меня преследуете с вашими пьесами? Я уже не знаю, куда мне деться от графоманов. Каждая бездарность считает себя Шекспиром. Ваши пьесы не сценичны, ставить их нельзя. Не беспокойте меня более!

Варсонофьев не нашёлся, что и ответить. Потом он долго сидел на скамейке под старым клёном, приходя в себя. Варсонофьеву почему-то вспомнился рассказ отца о дедушке, инженере Варсонофьеве, вызвавшем на дуэль обидчика его сестры...

Через некоторое время Варсонофьев несколько успокоился: если его пьесы здесь не оценили, то он поедет в Петербург, предложит их тамошним режиссёрам. Ему казалось, что на родине предков его творениям, наконец-таки, отдадут дань справедливости...

Виталий Павлович взял на работе короткий отпуск за свой счёт, купил билет на поезд и поехал в Северную Пальмиру, там он снял номер в скромной гостинице, привёз себя в порядок и прошёлся по Невской перспективе — так говорил его отец.

И хотя Варсонофьев наметил себе ряд театров, он был в неопределённости... Как решиться идти, к кому?

Он положил отложить деловые визиты на другой день, а вечером насладиться свободой в Петербурге, сходить в оперу или балет. Он решил направиться в Мариинку — туда, куда когда-то ходили студентами его родители...

Вечером Виталий Павлович надел привезённый с собой чёрный выходной костюм, белую сорочку, чёрный галстук и, не торопясь, пошёл по улице Декабристов, бывшей Офицерской, к театру.

Он был здесь когда-то ребёнком, но уже с тех времен ничего не помнил, кроме чувства ужаса, охватившего его почему-то при взгляде в оркестровую яму, но сейчас Варсонофьев пребывал в полном восторге и упоении.

В антракте он даже выпил бокал ледяного французского шампанского и почувствовал себя молодым драматургом, приехавшим покорять Петрополь...

Ранним утром, перед тем как пойти по назначенным адресам, Варсонофьев пришёл в Летний сад. Стоял конец августа, было довольно прохладно, с Невы дул пронизывающий ветер, и Виталий Павлович обрадовался, что не забыл взять с собой лёгкое пальто.

Варсонофьев прошёлся по Аллее Старых Лип, присел на скамейку около статуи Психеи и Амура, положил рядом с собой папку с рукописями.

Он почему-то вспомнил маму. Виталий Павлович был уверен, что она ему сейчас сказала бы: «Виталий, милый, не нужно обивать пороги театров, предлагая свои пьесы, оставь это и просто честно пиши. Помнишь, Манделштам сказал, что люди сами оставят то, что им нужно...»

Варсонофьев поднял голову и посмотрел на Психею, ему показалось, что она улыбнулась ему. Вечером поезд увёз Виталия Павловича в его уездный город, папка с пьесами лежала на дне его чемодана. Виталий Павлович тоже чему-то улыбался, глядя в тёмное окно вагона.

Дмитрий, получив зарплату, распался в ведомости у маленького окошка кассы и направился к начальнику.

— Нет и ещё раз нет! — отрубил Павел Семёнович по телефону и перевёл взгляд на Дмитрия.

— О, наш капитан, ну что там у тебя, выкладывай.

— Павел Семёнович, я у вас работаю уже три месяца, но не понимаю, что я делаю и зачем.

— Уже три месяца... Как завернул! По-твоему, мы все здесь бакули бьём?

— Павел Семёнович, я охраняю на реке старый неработающий катер. Может, его списать, а я бы чем то реальным занялся.

— Дим, скажу тебе по секрету, катер и так давно списан, других вакансий у нас нет. Сам знаешь, что из мэрии звонили и просили тебе помочь. Ты на флоте служил, что смог, придумали, так что не грузи меня и не отвлекай.

— Понятно, Павел Семёнович. Ладно, пойду.

— Давай, давай, подожди, вот возьми, маленький подарок.

Начальник снял с глобуса белую фуражку с якорем и протянул Дмитрию: «Дети из Испании привезли, сфотографировались, а теперь куда деть её, не знаю».

Дмитрий, не примерив фуражку, удалился из кабинета. Через городской мост он шёл к своему катеру. Хотя солнце ещё не баловало теплом, он заметил, что в жёлтых камышах исчезла ледяная корка. Просунув руку за пазуху, он потрогал место длинного шва на животе: остерегаюсь грыжи, он часто проверял это место.

«Откуда на меня эта болячка свалилась? Сейчас работал бы где нибудь посерьёзнее, с перспективами. Всего двадцать один год, а чувствую себя калекой, после армии устроился на пенсионерскую работу. Не сказал Павлу Семёновичу, что катер я отремонтировал и он на ходу. Наверное, хорошо, что не сказал, иначе прибавил бы ему и себе проблем», — размышлял Дмитрий.

Перейдя через мост, он вспомнил, что забыл о припасах на вечер, и повернул назад к деревянному, как маленькая бременчатая избушка, ларьку. В окошке ларька он услышал компанейский девичий голос: «Дим, привет, заходи к нам».

«Такому певучему голосу обычно не отказывают», — усмехнулся Дмитрий и наклонился, чтобы разглядеть лицо девушки.

Он не сразу узнал Наташку, с которой пересекся несколько раз в юности. В полутьме и тесноте ларька ящики с водкой заняли почти весь центр, коробки с шоколадом и жвачками валялись по углам. Наташка предложила сесть на её место и сразу оказалась у него на коленях.

Ему показалось, что она сделала это больше для подруги — продавщицы, которая стояла у окошка, наверное, чтобы доказать ей что то своё, девичье. Потом Наташка заинтересовалась, где и кем работает Дмитрий.

— В спасательной службе.

— Пожарник?

Дмитрию это польстило, тем более, Наташка была немного навеселе, и он согласился, добавив, что работает на катере.

— А пойдём к тебе на катер. Согласен? — изогнувшись изысканным вопросительным знаком, спросила она.

— Давай, — с легкой ноткой нерешительности ответил Дмитрий.

Он рассовал по карманам выпивку, хорошие сигареты, и они пошли по высокой земляной дамбе к одинокому катеру.

Молодым людям стало весело, пластиковые стаканчики наполнялись прозрачной и красной жидкостью, празднично серебрила фольга шоколада. В пелене табака и духов перед Дмитрием мелькали тёмная чёлка, южные глаза и яркие доверчивые губы Наташки.



ЭДУАРД ЕМЕЛЬЯНОВ

КАПИТАН ДРЕЙК

РАССКАЗ 12+

Он снисходительно слушал бесконечные истории о подругах, как они недавно встали и какие то парни к ним начали приставать.

— А катер на ходу? — вдруг спросила Наташка.

— Исправен, я даже парус соорудил, но пока сам не знаю зачем.

— Тогда заводи, поедем.

— Куда?

— На море.

— Ты что? Это казённое имущество, арестуют.

— Я думала, ты смелый.

— Хочешь, как стемнеет, я тебя по реке немного прокачу.

— Что я на реке не видела, я на море ни разу не была, — и она жалостливо выпучила нижнюю губу.

— Забудем. Ты чай или кофе будешь?

— Нет, не хочу, я смотрю — ты в тельняшке, а где служил?

— На флоте, правда, в доке.

— Мне нравится морская форма, а как ты на флот попал, все мои знакомые люди сухопутные?

— С детства мечтал. Знаешь, мне лет пять было, мы с мамой и папой в Гаграх отдыхали. На пляже отец встретил знакомого, а я подбежал и спросил: «Пап, а я откуда взялся?» А его знакомый ответил: «Мы вот здесь стояли, смотрим — с парусника младенца в море скинули. Родители твои подплыли и забрали тебя». Я в это поверил. После, пересказывая эту историю друзьям, я насыщал её приключениями с перестрелками и пиратами и наблюдал, как они мне завидовали.

— Романтически, но потом, надеюсь, ты узнал правду?

— Имя этому скука, что теснится в клетке бланка.

— Я вижу, хотя живёшь ты здесь, но какой то неместный.

— Наверное, я долго смотрел в это окно. — И он постучал острием ножа по стеклу.

— Расскажи о своей мечте.

— Это из книг. Мечтаю пройти пролив Дрейка, раньше таких людей уважали даже короли и некоторые королевы.

— А это где?

— Под пятой Южной Америки, я даже в шутку на борту написал «Капитан Дрейк».

— Ясно... — скусающе протянула она. — Я пошла, проводишь?

— Подожди, давай ещё выпьем, и мне надо отлучиться.

Дмитрий вышел на палубу, небо было звёздным, и рукоятка ковша Большой Медведицы указывала в сторону течения реки. Наташка сидела у штурвала в капитанской кепке.

«Сейчас провожу её до остановки и потом вернусь в уныние», — думал он.

Дмитрий скинул бушлат, на нём осталась армейская тельняшка. Он вспомнил, что именно в этой тельняшке ещё год назад он мечтал о том, что сейчас так близко.

«Действуй, действуй», — убеждал он себя.

Дмитрий разбил бутылку о борт катера и перерезал веревочный трос. Берег стал удаляться.

— Ты чего? — округив чёрные глаза, спросила Наташка.

— Едем и на море, и на океан.

— Какой ещё океан?

— Атлантический. Он ближе всех.

Дмитрий открыл в машинном отделении железные створки, повертел что то, и когда раздался звук работающего двигателя, катер медленно закачался.

— Проснулся, мой друг? Тогда вперед! — командовал Дмитрий.

Поцеловав Наташку, он надел белую капитанскую фуражку и взял штурвал в руки. Над головами тихо промелькнул железный мост. Огни города стали редеть, а потом и вовсе исчезли. Река завилалась.

— Ну всё, покатались и хватит, возвращаемся, — собирая женские мелочи в сумочку, засуетилась Наташка.

— В смысле — поворачиваем? Завтра загрузимся провиантом, выйдем к Испании, ты останешься и будешь ждать, а я дальше, к проливу Дрейка, — Дмитрий пытался донести маршрут следования...

— Я же пошутила, а ты что, вправду решил?

— Я не шучу, моряк назад не ходит.

— Не знаю, каким ветром тебе там, на палубе, надуло, но возвращай меня или высаживай.

— Нет, поедешь со мной, сама же об этом просила.

— Я поеду домой к родителям, а если не высадить, то прыгну за борт.

— Ладно. Не хочешь — не надо.

Дмитрий пришвартовался к бетонному спуску, что вёл к автомобильному мосту. Помог Наташке сойти на берег и молча вернулся на катер. Когда Наташка садилась в такси, катер пропал из виду...

После этого в народе разное говорили. Был слух, что у Дмитрия появилась женщина с ребёнком. Кто то уверял, что моряк задолжал серьёзным людям. Но уборщица баба Стеша божились, что в кабинете Павла Семёновича видела заграничную телеграмму, в которой сообщалось, что где то очень далеко обнаружены еде живой русский капитан и его корабль. И, скорее всего, это Дима, так как Павел Семёнович вспоминал его и сильно ругался, а потом долго молчал.

СЕМЁН МИЛОСЕРДОВ

(1921 – 1988)

КАМЕНЬ ДЕТСТВА

Как осколок
далекой желанной планеты,
на ладони моей
камень отчего дома лежит,
И встают голубые
степные рассветы,
и речонка Песчанка
небыстро бежит.
И опять я спешу
в соловьиные рожицы,
где прохладой
росы непросохшей дышу.
А цветы выставляют
наивные рожицы,
я их медленно ворочу...
Наливаются синью
тугие рассветы,
и под лемехом плуга
земля шуришит...
Как осколок
далекой желанной планеты,
на ладони моей
камень детства лежит.

СТЕПЬ И ЛЕС

В степной избе
за печкой, на полатах,
мой первый крик
раздался в тишине...
Мне вспомнились
и наша речка Плата,
и жаворонок в звонкой
вышине...
И семь потоков,
Я потрудился вволю,
чтоб проросло колосом
зерно...
И степь моя
широкая, как Волга,
ржаные волны катит
под окно.
А нынче я в лесном краю
гощу.

Брожу,
в сырой траве
грибы ишу.
Свищу.
Стою над кручей долго.
С оттяжкой дятел
ствол березы долбит.
С дороги не сворачивают
лоси...

А все мальчишки тут
желтоволося,
глаза у всех
промыты синевой,
а руки нахнут
солнцем и травой.
На небо глянешь —
голубая глубь,
на девушку —
прошепчешь:
«Приголубь...»
Она добра.
Она мне скажет:
«Груздь...»
Он ваш...
И даст орехов горсть.
Но почему ж
закралась в сердце грусть?
Не потому ль,
что я здесь только гость.

ОЛЕГ АЛЁШИН

«ПИОНЫ НА ЛЕТНЕЙ ВЕРАНДЕ»

ЭТЮД 12+

Когда я заходил к нему, меня что-то неотступно тревожило, но это навязчивое чувство, поджидаемое за тяжелой дверью его мастерской, заставленной картинами, багетом, мольбертами, расплывалось, едва мы начинали долгий и неспешный разговор, расположившись за его рабочим столом, на котором топились книги, альбомы, старые фотографии, печенье и чайные чашки.

Мы ещё не успели наскутить друг другу, постепенно исчерпывая темы бесед и охлаждая вместе с чаем, приготовленным из пакетиков, первые впечатления от недавнего знакомства, за которыми неминуемо следуют либо отчуждение, либо окрепшее дружеское вечернее молчание. Но я так и не узнал, что, в конце концов, могло выйти из нашего почти еженедельного общения...

Из разговоров я понял, что его и моё прошлое связывает не более двух-трёх имен, но и они уже внесены в нескончаемые поминальные записки. Поэтому он и не любил говорить о жизни, испытывая к ней двойное чувство: она многое отняла у него, но и немало подарила. Он часто раскрывал Библию, изданную на современном русском языке, и зачитывал вслух ту или иную главу, словно пытаясь в себе что-то примирить, точнее, разрешить какие-то противоречия, но не знаю, насколько утешал его шелест очередной перевёрнутой страницы. Во всяком случае, он трактовал вечную книгу, как понимал, по-своему. И это придавало ему силы, к тому же художник не любил, когда кто-то навязывал ему своё

невывраченное мнение по поводу библейских историй. Но, несмотря на ежедневное чтение Библии и вечерний возраст, он толком не научился скрывать свои чувства, эмоции, а лёгкая испарина над тяжёлой оправой очков и одышка предательски выдавали в нём не совсем здорового и раннего человека.

Он всегда ждал меня, готовился к встрече, что было для меня непривычно и, не скрою, — приятно. Мало кто в жизни по-настоящему радовался моему приходу, точнее, тому шарбу накопленных цитат, стихотворных строк, представлений, заблуждений, разочарований и прочих вещей, которые я невольно втаскивал вместе с собой в его мастерскую. Он готов был меня слушать, а я — его. Может быть, потому что ему как художнику не хватало слова, а мне — живописи.

Он получал приличное художественное образование в тогдашнем Ленинграде, но почему-то этот город остался в стороне от его творчества. Правда, за диваном, на котором я обычно сидел, висело несколько его изысканных работ — видов Санкт-Петербурга. Художника больше привлекал неказистый вид русских деревушек и нашего деревенного полусгнившего провинциального городка.

Художник мне говорил, что в дереве больше жизни, чем в камне, оно скрипит, когда восходишь по шаткой тёмной лестнице, в нём много тепла, уюта, мягкости, оно дышит заброшенным жильём, по-особенному притупляет звук, каждое дерево имеет свой цвет, запах, в конце концов — историю. Он говорил, что любил запах

сосны, но до первой утраты...

Не знаю, но мне почему-то ближе камень, точнее — мрамор. Хотя в России он так и не прижился, как солнцелюбивый цветок Тосканы. В России он разрушается от холода, обтачивается северными дождями, но всё же не тлеет, как дерево. В мраморе есть какое-то подлинное благородство.

Удивительно, но камень и дерево как-то уравновешивают друг друга, может быть, поэтому я люблю старинные парки, где в тени столетнего дуба пританцала бело-мраморная Дриада, люблю деревянные дома, населённые мраморными бюстами и звуками фортепиано, запертыми изнутри в широкой бревенчатой гостиной.

Признаюсь, мои посещения мастерской художника не были бескорыстны. Мне хотелось разместить у себя в туалете кабинетное окно, широко распахнутое в июньский сад. Вид из моих окон, увы, вызывает только отвращение к этой жизни, лишённой всякого изящества и тонкого вкуса. Мне всегда не хватало ощущения чистого безветренного утра, запаха жасмина, вспорхнувшей где-то рядом робкой птицы, ненавязчивого шума воды, возможно, исходящего от небольшого фонтана, шёпота беседы, притаившегося в кустах с тростниковой свирелью влюблённого Фавна, испытывающего странное чувство от сочинённой им впервые грустной мелодии...

Я часто рассказывал художнику о своих живописных фантазиях, постоянно интерпретируя сюжет. Иногда мне хотелось увидеть в окне неприбранный в саду стол, за которым минувшим вечером долго пили чай, о чём-то говорили близ-

кие мне люди, а теперь на белой скатерти лежит красное яблоко, упавшее ночью с ветки, а тонкие фарфоровые чашки кажутся совсем прозрачными в дымчатом свете утра; на спинке стула — забытая женская накидка светлых и мягких тонов.

— Боюсь, что у меня не получится написать так, как вы хотите, — всякий раз говорил художник, когда я возвращался к своим невнятным мечтаньям.

Прошло довольно много времени. Я всё реже и реже заговаривал с ним об окне, боясь наскутить своей назойливостью.

Однажды я его застал совсем измученным. Художник сидел за чистым холстом в своей мастерской и о чём-то размышлял, а может быть, просто отдыхал.

Я знал, что он каждый день в несвежем автобусе ездил на другой конец города к своей парализованной племяннице и переворачивает её с бока на бок. Больше было некому. Родная сестра художника уже не могла справиться с большой дочерью. Он помогал этим несчастным женщинам тихо, безропотно, как говорят, по-христиански. Он жил чужой болью и страданием, но с каждым днём ему всё труднее было нести невидимый для посторонних глаз крест. А помочь ему было некому.

Увидев меня, он как-то оживился, заулыбался, словно боясь ненароком показать свою минутную слабость.

Мы уселись, по обыкновению, пить чай.

— А вы знаете, мне больше нравится веранда. Наверное, ассоциации с моим детством. Все

же на веранде больше воздуха, спасительной тени, здесь можно немного отдохнуть, — сказал художник.

Потом, чуть помедлив, он добавил: «Теперь я знаю, как написать окно в сад. Только не торопите меня...»

Ко мне пришло осознание, что художник всё это время думал о моих фантазиях, размышлял, как осуществить живописный замысел... И мне почему-то стало стыдно. Стыдно за свои фантазии, которые были далеки от его повседневной жизни и забот. К тому же он был возрастным родителем, пытавшимся заработать на хлеб насущный.

Но вместе с тем я понимал, что художник ещё не научился мечтать, в нём ещё жил мальчик, отрок, которому подвластно обуздать льва, когда детская наивность и невинность сильнее гривастого мужества и жестокого ума...

Теперь я уже не помню, кто первым сообщил мне о его смерти. Но прежде чем умереть, он подписал какую-то бумагу в кардиологии и ушёл прямо к племяннице, чтобы её перевернуть, как оказалось для него, в последний раз. Вскоре за ним ушла и она...

Потом мне было непростое переступить порог его опустевшей мастерской. Супруга художника неспешно разбирала наследство, не понимая толком, что с ним делать. Среди многочисленных живописных работ, эскизов, набросков, рисунков, увы, не оказалось моего «окна в сад». По всей видимости, он так и не успел его написать. Но вместо окна теперь в моём кабинете «Пионы на летней веранде».